В. Ф. Кривушина

МЕСТО АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ: АПОЛЛОН ГРИГОРЬЕВ И А. И. ГЕРЦЕН

В статье анализируются позиции сближения и расхождения А. И. Герцена и Аполлона Григорьева по проблемам прошлого, настоящего и будущего России. Предметом анализа также является отношение писателей к радикализму и либерализму. Поднятые проблемы разрешаются через обращение к их мировоззрению.

Ключевые слова: общественный прогресс, национально-культурная самобытность, утилитаризм, революционный демократизм, национально-культурный тип, национальное самосознание, логическая редукция жизни.

V. Krivushina

THE PLACE OF AP. GRIGORYEV IN THE HISTORY OF RUSSIAN PHILOSOPHIC THOUGHT: AP. GRIGORYEV AND A. HERZEN

The relations and collisions between A. Herzen and Ap. Grigoriev concerning their attitude to the problem of the past, present and future in the history of Russia are described, and their approaches to the political radicalism and liberalism are explored.

Keywords: social progress, national and cultural originality, utilitarianism, revolutionary democracy, «historical cannibalism», national and cultural type, national self-consciousness, organic thought, logical reduction of life.

Определение и содержательное обоснование места Григорьева, русского поэта и оригинального мыслителя, в отечественном литературоведении наталкивается на формальную несобранность, рассыпанность его суждений: работа критика прервалась его смертью. Это обстоятельство побуждает нас, учитывая энциклопедический тип гуманитарной культуры автора «органической критики» и соответствующую этому его типу отзывчивость на веяния времени, реконструировать интересующие нас проблемы-аспекты миросозерцания Григорьева опосредованно, поскольку они так или иначе находят свое отражение в идейных комплексах других мыслителей, русских и западноевропейских. Поскольку же речь идет о социально-политических ориентациях мыслителя, таким зеркалом,

специфически отражающим и преломляющим григорьевскую мысль, нам видится, в частности, А. И. Герцен.

Духовная жизнь Григорьева с самого начала приняла направление, отличное от направления духовной жизни Герцена. Ориентиры мыслителей разошлись уже в университетской жизни. Вокруг Григорьева собрался кружок друзей, который не находил интереса в десятилетней давности традиции известных кружков Сунгурова и Герцена и социально-политической проблематике предпочитал философские и поэтические занятия. Взгляды Герцена как социального мыслителя переживут эволюцию, но в рамках исходной направленности. Философская и эстетическая направленность мысли Григорьева, также в свою очередь пережив эволюцию, выведет критика к самобытному национально-культурному идеалу жизни, в контексте которого социально-политическая проблематика будет разрешаться как момент, производный от реализации экзистенциального идеала самобытной национальной жизни. Таким образом, и в зрелые годы социально-политическая проблематика должна была оставаться для Григорьева принципиально не актуальной.

Творчество Герцена очень рано, уже в сороковые годы, попадает в зону его профессионального интереса и будет осмысливаться им как показательный момент развития русского литературного процесса, что для него, романтика и шеллингианца, тождественно объективному процессу формирования русского национального самосознания. В своем глубоко сочувственном письме к Гоголю 1848 года по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», книги, пленившей его заявленной писателем установкой на соответствующую божественному замыслу о человеке абсолютную систему отсчета достоинства его личности, Григорьев, между прочим, обращается к роману Герцена «Кто виноват?» (1846). В контексте владеющего молодым критиком настроения «Кто виноват?» предстает антиподом «Выбранных мест»: герценовский герой, умный и блестящий Бельтов, видит себя жертвой безнадежно уродливых общественных отношений и в условиях невозможности активной борьбы находит выход лишь в любви к женщине, что в данном конкретном драматическом положении Бельтова и Круциферской также оборачивается их гибелью в «безмолвном и гордом страдании» (М. Ю. Лермонтов). Выявившееся таким образом уже в сороковые годы расхождение между духовной ориентацией Григорьева (вечный искатель Бога-абсолюта) и атеистическим характером мысли Герцена пройдет через все фазисы их отношений.

Со временем, однако, отношение Григорьева к Герцену осложнится до формы некоей «любви-вражды», где любовь-понимание рождалась из общего поколенческого опыта. Хотя Герцен был на десять лет старше Григорьева, они — один в детстве, другой в отрочестве — переживали сходные впечатления, породившие параллельные мотивы в самокритике и критике своего поколения. У Герцена («С того берега»): мы «заморили наши души в отвлеченных общих сферах…», «выросшие в больничном воздухе, они (это — о своих современниках и современниках политической реакции тридцатых годов. — *В. К.*) … истощились не страстями, а страстными мечтами…», «идеалисты, теоретики, они мыслию постигли разврат, они прочитали страсть» [3, с. 88–89]. Герой Григорьева: мы «страдаем, страдаем страшно и бесплодно; жизнью слов, жизнью воображения переживаем мы все, что действительность может дать, — и вносим в нее одну скуку и утомление…, внутренним развратом истощили мы все жизненные соки» [6, с. 116].

Герцен был ближе Григорьеву как университетский человек, в отличие от «семинаристов», «кряжевых отрицателей». Из бурс, семинарий и академий по наблюдению критика и свидетельствам русской литературы не выходит полных гармонических натур. Претерпев в процессе обучения насилие долбежкой и схоластическим логицизмом, воспитанные в сухом методизме, выпускники этих заведений сложились в завоевателей жизни, в бесстрашных отрицателей ее живого своеобразия в отвлеченных теоретических схемах. Университет же, полагал Григорьев, в отличие от специальных заведений формировал учащихся «под влиянием философии и более или менее, но всегда энциклопедического … образования» [7, с. 173]. Из стен университета выходили люди, склонные к изящному. В этом смысле незаурядный герценовский Бельтов был также душевно близок Григорьеву. Но эта близость для самого критика проявилась со временем. Он, автор «Воспоминаний» (1862), как кажется, увидел ее, глядя на Герцена ретроспективно и не ранее, чем для него обнаружился масштаб замечательного русского писателя и общественного деятеля. Во всяком случае, еще в конце 1857 г. Герцен берется критиком суммарно, в четком противопоставлении со своей собственной мировоззренческой позицией и с чувством досады. «Бедный, обманутый, самолюбием ли, бездумным ли увлечением Г<ерцен>» [8, с. 155]. По-видимому, в своем социализме Герцен остается для критика пленником западничества, а западничеству он не верит. Он видит у них «затаенную мысль узаконить, возвести в идеал утонченный разврат, эмансипировать блуд и т. д.» [8, с. 128]. Более того, и почти в то же самое время (январь 1858 г.) Герцен, оцениваемый суммарно и, по-видимому, уже вполне внутренне сбалансированно, предстает у Григорьева персонификацией одной из трех идейных позиций, каждая из которых для него неприемлема. «Я не знаю, что для меня отвратительнее: петербургский прогресс, разрешающийся фельетоном в «Nord» о блядях, или дилетантизм православия, или, наконец, цинический атеизм Герцена!» [8, с. 184].

Порочность в его глазах всех трех позиций он производит, становясь на свою собственную «органическую» точку зрения, от одной причины — «неверия в жизнь, идеалы и искусство» [8, с. 184]. А это не может не разрешиться социализмом — утилитаристской утопией материального благосостояния, духовного рабства и «китайским застоем» в гнетущей форме «*внешнего* единства подлежащих уничтожению народностей, то есть „цветов и звуков“ жизни в отвлеченном человечестве» [8, с. 128]. Эта холодная рефлексия по поводу Герцена с 1859 г. сменится живым чувством, вызванным теми или иными более или менее общими моментами социально-политической мысли Герцена, в которых он увидит «свое другое», но все же не «свое»: заявленные в цитированных нами письмах различия позиций принципиальны и остаются неснятыми при том, что с этого момента он не считает нужным их оговаривать. Не оговорено в этом «системном» плане и самое «прогерценовское» признание Григорьева — в письме Е. С. Протопоповой от 28 января 1859 г. Григорьев пишет, что его собственная мысль больше всего мирится с мыслью Герцена, «ибо эта мысль есть не что иное, как смело и последовательно высказанное исповедание того, чем некогда жили как смутным чувством мы все…» [8, с. 208].

Настоящее высказывание интересно, в частности, тем, что всего девять месяцев назад степень близости критика с Герценом оценивалась первым степенью ниже. «Увы! Я не могу *верить* в нашу службу,

мало верю вообще в наше status quo нашего прогресса и difinitivement (окончательно — *англ.*) верю, кажется, только в *отрицательную* правоту Герцена, да в *положительную* правду тех таинственных, еще не раскрывшихся миру сил, которые зовутся *народом и православием*» [8, с. 200]. Что заставило Григорьева так сблизить герценовскую, как ему кажется, позитивную мысль со своим credo? Мы полагаем, что Григорьев за десять месяцев, прошедших с конца апреля 1858 г. до конца января 1859, освежил в памяти (либо впервые прочел) «С того берега». Перепечатка первого, 1855 г., издания книги Герцена была сделана в 1858 г., как раз в период пребывания критика за границей. Автор «С того берега», очевидно, выступает уже с трезвым и трагическим опытом пережитой им французской революции 1848 г. и переориентацией своих социалистических убеждений в направлении русского общинного социализма. Книга «С того берега» не могла не развернуть Григорьева в сторону Герцена.

Критика рационалистической отвлеченности и социального утопизма и разработка природно-«органического» элемента были чертами мировоззрения «органического» Григорьева, параллельными соответствующим, но по-своему проявлявшимся чертам мировоззрения Герцена, развернувшим, в свою очередь, его к народу, «отроческую силу» которого Европа «оценила в бое» [4, с 11]. Пусть она, Европа, — продолжает развивать свою мысль Герцен — ближе узнает нас, «расскажем ей об этом мощном и неразгаданном народе, который втихомолку образовал государство в шестьдесят миллионов, который так крепко и удивительно разросся, не утратив общинного начала, и первый перенес его через начальные перевороты государственного развития; об народе, который как-то чудно умел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой натуры под гнетом крепостного состояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадным явлением Пушкина» [4, с. 11]. Здесь все мысли — «григорьевские», особенно иррациональный у Герцена и неявно, но все же провиденциальный у Григорьева момент образования великорусского народа, таинственной силой отбрасываемого с юга на север и восток; отношение к насилию над народом, в том числе — к бюрократическому насилию; позитивное толкование разгула богатой натуры и, конечно, оценка Герценом в этом общем контексте феномена Пушкина.

Все это не только не могло оставить Григорьева равнодушным, но, как свое другое, не могло не возбудить соответствующие импульсы его собственной органической мысли, по-своему, но в унисон герценовскому развороту к русским, разочарованной в «ветхом» Западе. Теперь, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов социально-политические интересы Герцена и Григорьева соединяются на поле ожидаемых демократических сдвигов. Связанные этими ярко эмоциональными у обоих ожиданиями и надеждами, оба русских мыслителя попадают в одну и ту же ловушку либеральных иллюзий, которые заключались в вере в свободные преобразовательные намерения нового монарха и в связи с этим в возможность мирного реформаторского пути изменения российской действительности. Из письма И. С. Тургеневу 1858 года: «Скажите Александру Ивановичу, что — сколько ни противно моей душе его циническое отношение к Вере и бессмертию души, — но что я перед ним как перед гражданином благоговею, что у меня образовалась

к нему какая-то страстная привязанность. Какая благородная, *святая* книга «14 декабря»!.. Как тут все право, *честно,* достойно, взято в меру» [8, с. 201]. Речь идет о вышедшей в 1858 г. книге «14 декабря 1825 и император Николай. Издано редакцией „Полярные звезды“ по поводу книги барона Корфа».

Книга представляет собой свод доступной издателям — Герцену и Н. П. Огареву — документов, касающихся декабрьского восстания; она снабжена «Письмом к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)» Герцена и содержит огаревский разбор книги М. А. Корфа. Написанное со всем блеском выдающегося ума автора «Письмо» интересно как обнародованием надежд и разочарований, с которыми Герцен встретил воцарение Александра II, так и позицией в отношении восстания декабристов и николаевской эпохи, поскольку эта позиция, по-видимому, разделялась Григорьевым. Во всяком случае, это следует из его восторженного отзыва. 14 декабря Герцен рассматривает как проявление исторической необходимости, пролагающее путь к разделению властей и к признанию личных прав, в том числе на образование. Император Николай II увидел, что образование входит в противоречие с деспотизмом, и отрекся от него, не от деспотизма, а от образования.

В наступившей мучительной паузе остановившееся, было, дыхание двух поколений стало, наконец, разрешаться в мысль, что стихии развития надо искать в самом народе, а не в перенесении чужих форм. Из опыта двух европейских революций, 1830 и 1848 годов, нам, русским, даром достались истины, которых западные народы дорабатывались в кровавой борьбе. И вот теперь, заключает Герцен, лежащая в предсмертной болезни Европа завещает нам как единственный путь спасения элементы, глубоко лежащие в национальном характере. Логика автора «Письма к императору Александру II…» по-своему вписывается в органическую логику Григорьева — «либерального консерватора» и сторонника демократических преобразований. Но эта логика наталкивается явно на другую логику, которая оскорбляет Герцена. Письмо Александру II пишет глубоко оскорбленный человек. Иначе и быть не могло. На ожидания русской демократической общественности правительство отвечает переизданием раболепной в отношении к Николаю I книги государственного секретаря Корфа: как «он (Николай I. — *В. К.*) мог читать такую тяжелую, подьяческую, вульгарную лесть? Она носит как-то грубо вырезанную печать его времени — бедность мыслей, условность формы, узкий горизонт, официальный холод, беспощадность посредственности, отталкивающая, парадная чувствительность» [5, с. 69].

Стоящий за этим отзывом интеллектуально-нравственный-эстетический аристократизм Герцена (который должен был особо импонировать Григорьеву) столкнулся не с демонизацией, а прямо с бестиализацией декабристов. В публикуемых официальных бумагах они представлены «гнусными развратниками», «пьяными негодяями» и проч. Защищая людей, совершивших мученический подвиг и побитых грозой за то, что «слишком верили в Россию», Герцен заявляет царю: амнистии «вашей мало, она пришла слишком поздно, не прощение нужно теперь, а примирение и понимание» [5, с. 45–46]. Возможно ли примирение между Герценом — Бельтовым — Чацким и царем? Анализируя уже в шестидесятые годы «Горе от ума», Григорьев напишет, в частности, что «Грибоедов казнит невежество и хамство», что вся «комедия есть комедия о хамстве» [7, с. 303]. Имеется в виду, конечно, хамство ополчившейся на Чацкого его среды, Фамусовых. Герцен тоже, правда, заоч-

но, столкнулся с монаршим хамством. 8 ноября 1857 г. Корф в докладной записке на имя царя изложил свое подробное возражение на критику Герцена и получил на своей бумаге царскую резолюцию: «На бранные слова Герцена советую Вам плевать, он большего не заслуживает. Вам же благородные люди останутся вечно благодарны за сохранение для потомства одной из самых примечательных страниц истории. О личной моей благодарности не говорю — она Вам давно известна» [5, с. 505]. Благородный человек обращается к благородному человеку по поводу изгоя из благородной среды.

Фамусовы и Молчалины — не изгои, но дворянское благородство в них разменялось на наивные, то есть безнадежные хамство и низость. Но оно не могло разменяться таким же образом в царе, который благороден по определению. Наследующий трон по праву рождения не подвергает себя нравственной коррозии, сопровождающей демократическую борьбу за власть и чувствует себя проводником Высшей Власти. Как помазанник и благородный человек, в своих собственных глазах, во всяком случае, он, апеллируя ко всем благородным людям, советует своему корреспонденту плевать на бранные слова Герцена, со своей стороны демонстрирующего последовательное непонимание образа мыслей царя, которое может, в частности, простираться до наставления помазаннику: обязанность «государей не в служении панихиды по покойному (ритуальная панихида по Николаю I. — *В. К.*), а в служении своему народу…» [5, с. 68]. Диалог глухих, в который на стороне Герцена включился Григорьев, разделивший его, Герцена, политические иллюзии в той, вызвавшей его восхищение форме, как они выразились в письме Герцена.

В следующем, 1859 году, взрыв восхищения герценовской мыслью у Григорьева повторится. Из письма Погодину от 29 сентября 1859 г.: «Стеганул же *их* за первую выходку лондонский консерватор…» [8, с. 222]. Григорьев имеет в виду небольшую статью «Very dangerous!!!» (очень опасно — *англ.*), написанную Герценом в связи с тенденцией русской журналистики, в том числе «Современника»*, пересмотра роли «лишних людей» в освободительной борьбе и дискредитации «обличительного направления» в формах современной гласности. Герцен, однако, в данном случае выводит из-под критического удара «неловкость первой гласности», от которой он в будущем ждал более зрелых плодов, и ставит под сомнение право выступать от имени «чистых» литераторов, людей «звуков и форм», авторов «Современника», сделавших себе «чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждущими» [2, с. 233]. Сугубую иронию Герцена в отношении «Современника», выступающего с позиций «чистой» поэзии, Григорьев, конечно, мог только солидарно поддержать — это самоочевидно.

Единство в вопросе о «мрачных сочувствиях» проиллюстрируем, анализируя творчество любимого, но «слепо» относящегося к своей поэзии и находящегося под идейным влиянием «теоретиков» журнала «Современник» Н. А. Некрасова: «Ведь одной поэзии желчи, негодования и скорби слишком мало для души человека. Но теоретики решительно сумели уверить своих последователей, что это одно только и нужно» [9, с. 298]. Перед нами — малое свидетельство глубокой, гораздо более глубокой, чем у Герцена, потому что восходящей к абсолютной позитивности Первопричины всего сущего, позитивности общего настроя григорьевской мысли. С этой позитивностью-приемлемостью в отношении к логике нередуцированной, «живой» жизни, опосредованно связана, как нам представляется, и защита обоими

русскими мыслителями «лишних людей» от стратегии радикального отбраковывания их «утилитаризмом», а в конечном счете — революционно-демократической логикой.

Сам стиль герценовского письма в этом его «жизнеутверждающем» смысле должен был импонировать Григорьеву: изложение мыслей в «Very dangerous!!!» богато подтекстами, историческими и культурными параллелями, оно стилистически тяготеет к своего рода художественной образности, которая так оригинально и блестяще утвердится в покоряющем стиле «Былого и дум». По существу же, за защитой Герценом «лишних людей» не могло не стоять в виде опосредующей ее предпосылки совсем «григорьевское» отторжение «исторического каннибализма» (выражение Герцена), то есть «поглощающего» отношения, складывающегося между историческими поколениями и их предками, а в виде еще более глубокого опосредования — органическое, природное, как и у Григорьева, основание этой критики. Из книги «С того берега»: «Природа не только никогда не делает поколений средствами для достижения будущего», … она готова, как Клеопатра, распустить в вине жемчужину, лишь бы потешиться в настоящем, у нее сердце баядеры и вакханки» [4, с. 26]. Эта вторая половина высказывания, однако, уже не могла быть принята Григорьевым, выводящим универсум из высшего начала, будь то Бог или абсолютное тождество, по Шеллингу.

Тем не менее, отторжение «антиприродной», идеологической воли применительно к оценке личности в ее исторической роли объединяло Герцена и Григорьева. Вот почему последнего должен был задеть за живое и задел сюжет статьи Герцена о «лишних людях», в глазах Добролюбова представавших «мечтателями», «сломавшимися без боя». Герцен, напротив, считал жизненный выбор «лишних людей» объективной необходимостью. Над Онегиными и Печориными тяготел печальный рок «лишнего человека» лишь потому, что им выпало развиться «в человека» в условиях николаевского режима. Эту логику в её гуманистической части разделял и Григорьев, всегда чуткий к масштабности типической личности литературных героев и их жизненных прототипов. Он доверял литературе, возводившей таких лиц в «кряжевые» национальные типы, и как «органический» мыслитель, в отличие от Добролюбова, не был связан логикой оценки их в свете соответствия—несоответствия требованиям политического радикализма. Если это сложившийся национально-культурный тип, причем любой, а не только «кряжевый», то есть такой, в каком национальные черты выдаются особенно показательно, то он уже в известном смысле прекрасен как нерукотворный глубокий и таинственный результат органического творчества, как неповторимый цветок. Состоявшееся типически из природы и истории уходит и остается. Уходит в прошлое, пропуская вперед типических героев исторически наступающего времени, но остается в сокровищнице национальной культуры, где оно методологически недосягаемо для дискриминации исторической критики в свойственном ей релятивизме, замешанном на линейной концепции прогресса. Собственно, Григорьев и вообще мог бы оспорить понятие «лишние люди».

Развившийся в человека индивид (используем понятие Герцена) — это экзистенциально развитая личность, что для Григорьева в сущности и ценно, а «лишние люди» — лишние в другой, не собственно григорьевской системе отсчета. Они лишние с точки зрения всегда только условных для критика требований социума. Между тем проблематика «лишних людей», в какой-то мере, по-види-

мому, инспирированная «Very dangerous», продолжает развиваться в литературной критике Григорьева. «Лермонтовское направление», к которому критик причислил Бельтова-Герцена**, как необходимый фазис развития русского национального самосознания, уже узаконивало творчество автора «Кто виноват?». Бельтовы были атеистами (этот момент Григорьев никогда не забывает), но ведь они были идеалистами, то есть людьми высоких, идеальных ориентаций. Идеалы таких людей «не мирятся с практикой, и они упорно и сурово уходят в свои идеалы» [7, с. 172]. Таковы Чацкий и Бельтов. Они падают в борьбе, но не от недостатка твердости сил, а решительно от того, что их перемогает окружающая их тина, настолько громадная, что от нее остается только бежать [7, с. 308]. Бежит, как известно, Чацкий, — туда, «где оскорбленному есть чувству уголок». Чацкий для Григорьева есть «единственный наш герой», а герой для него означает силу, «положительно» борющуюся в своей жизненной среде. Другой, на этот раз «отрицательно» борющийся герой, явился в образе Бельтова, который — Григорьев повторяет ироническую реплику Герцена («Кто виноват?») — четырнадцать лет и шесть месяцев не дослужил до пряжки***. Бельтов в глазах критика более «жидок», нежели Чацкий, но, с другой стороны, он, в свою очередь, «гуще» Рудина.

Умозаключая от органической логики Григорьева и его понимания образа Рудина, которого он по принципу мировоззренческого сходства сдваивал с Белинским в его, Белинского, отчаянно гегельянской фазе, полагаем, что речь идет о «жидкости» или «густоте» реального, почвенного компонента в духе Бельтова, с одной стороны, и Рудина — Белинского — с другой. Рудин для Григорьева есть выражение безудержа немецкой диалектики в ее крайней, нещадно последовательной русской форме. Вызывающий глубокое сочувствие Григорьева «идейный», «идеальный» Рудин, тем не менее, — человек в своей идеальности отвлеченный. Он у Григорьева не герой. Надо думать, потому, что гибнет, геройствуя не в своей жизненной среде. В этом смысле он не позитивен, не Чацкий. Чего же ему недостало? В отличие от Бельтова, он, Чацкий, — непосредственный наследник Новиковых и Радищевых, товарищ декабристов, его сила еще свежа, упряма, вплоть до готовности погибнуть в столкновении со средой. Она героична.

Сам в сороковые годы радикальный романтический отрицатель действительности и вновь возросший в своей критической, «отрицательной» силе к концу пятидесятых уже в концептуальных очертаниях своей новой, философски позитивной в отношении жизни позиции, Григорьев вполне отдал должное «нагло-беспощадному» анализу русской жизни в «Кто виноват?». Сильную и смелую мысль Григорьев — органический мыслитель, поклонник из самих даров природы исходящей силы, умеет ценить. И ценит тем более, что сам болезненно-остро переживает моральную трусость и «узкий» моральный консерватизм мещанской массы. Теперь, в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, он видит, насколько роман Герцена обогнал свое время. Явись «в такую нравственную и целомудренную эпоху, как наше…, положим, хоть «Кто виноват?», — это произведение с его нагло-беспощадным анализом предано было бы анафеме» условной нравственности (замужняя Круциферская полюбила Бельтова. — *В. К.*). Но и более «жидкие» и более «густые» герои русской культуры и литературы входят у Григорьева в единый диалектический поток формирующегося национального самосознания. Ввиду этой «органической» точки зрения проявляет-

ся и смысл наиболее резко выраженного субъективного момента в отзыве Григорьева о «Very dangerous!!!»: «Стеганул же *их* (авторов «Современника». — *В. К.*) лондонский консерватор: не знаю, раскусил ли он всю *прелесть* идеи статей «Темное царство»!..» [8, с. 222]. От Герцена, взявшего под защиту национальное достояние русских протестных типов тридцатых годов, Григорьев, по-видимому, хотел ждать соответствующего отношения Герцена к глубоко травмировавшей его логической редукции самобытной русской жизни к формулам «темного царства» и «обломовщины».

Переходя к шестидесятым годам, критик рассматривает «теоретиков», Добролюбова и Чернышевского, прежде всего, уже как «практических отрицателей», по-видимому, в противоположность идейным, теоретическим отрицателям тридцатых. Характерная тактика их — редукционистская, но именно в этом своем редукционизме она и стяжает успех. «Кряжевый семинарист будет всегда жизненно прав, всегда одержит практическую победу, ибо правы практически только смелые отрицатели: они помнят твердо, что gutta cavat lapidem (капля долбит камень — *лат.*), и бьют метко в одно место, не обращая ни малейшего внимания на другие, не увлекаясь ничем, кроме поставленного ими вопроса — даже намеренно глухи на все возражения мысли и жизни» [6, с. 25]. Да, конечно, ни Герцен, ни эстетически-чуткий «весь» Белинский, ни, тем более, сам Григорьев, — стремившиеся к как можно более полному захвату жизни, в корне несовместимы с этой формой отрицания. Но ведь именно практические отрицатели добиваются практического успеха, полагает Григорьев — и оказывается пророком. Разве наша Октябрьская революция философски не вышла из сурового аскетизма логически развертывающейся диалектической мысли? Характерно в этом смысле, что, тяжело переживая свою «ненужность» в настоящем времени, критик сопоставляет себя именно с Герценом. Но и в этом случае, сопоставляя, — противопоставляет, пропуская его (социалиста и атеиста) — вперед. «Увы! *Новое* идет в жизнь — но мы — его жертвы. Жертвы, не имеющие утешения даже в признании. Жертвы Г(ерцена) — оценю даже я, православный, а наших жертв никто не признает: слепые стихии, мы и заслуги-то даже не имеем» [8, с. 193]. Это сопоставление вырастает уже на социокультурно-психологической почве и фиксирует общее у критика с Герценом гнетущее впечатление затянутости горизонта своей переходной эпохи, скрадывающего перспективу чаемого каждым из них будущего. Герцен переживал это чувство после подавления французской революции 1848 г. (он описал его в «С того берега»), Григорьев — с конца пятидесятых.

Сближения и коллизии, проявившиеся в отношении «Григорьев—Герцен», проливают, как нам представляется, свет на парадоксальную по форме констатацию А. А. Блока: Григорьев в сущности не поддается осмыслению с позиции «правости» или «левости». В глазах Блока Григорьев предстает гораздо более сложным явлением, внутренне связанным с теми «глубинами» жизни, которые так мощно дадут себя знать в мистической глубине творчества Ф. М. Достоевского и Вл. Соловьева [1]. Действительно, «трудно разложимая» (А. Блок) мысль Григорьева не разыгрывается под знаком «левости» и «правости». Она тяготеет к надпартийности, поскольку как органический мыслитель критик переводит решение проблемы настоящего и будущего России в контекст философии культуры, где историческое развитие предстает для него не в форме однонаправленного общественного прогресса, но в особых циклах, переживаемых куль-

турно-историческими типами, находящими свою конечную философскую легитимацию в Боге-Абсолюте. В настоящем, «не своем» для Григорьева контексте, эта тема заявляет себя лишь протестом против атеизма Герцена и сочувствием к «русскому повороту» герценовской мысли.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Из «Very dangerous!!!»: «Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лет болтовню (известного И. И. Панаева, автора «Современника». — *В. К.*) о всех петербургских камелиях и аспазиях, которые, во-первых, во всем мире похожи друг на друга, как родные сестры, а во-вторых, имеют то общее свойство с котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить о них совершенно нечего». *Герцен А. И.* Письма издалека. М., 1984. С. 233. Совпадение с Герценом в характерном для них обоих раздражении по поводу злоупотребления сомнительными литературными сюжетами должно было доставить удовлетворение Григорьеву. Однако тема защиты обличительной литературы сочувствия у критика не вызвала.

** В числе Бельтовых критик необходимо должен был засчитывать Н. П. Огарева. Заключаем это потому, что он очень сильно любил Огарева. Очевидно, не как социально-политического мыслителя: Огарев был радикальнее Герцена. Он любил в нем национально-культурную «кряжевость», полный человеческий национально-культурный образ тонко чувствующего человека, как этот образ вырисовывался в его, огаревской, поэзии. Других членов кружка Герцена Григорьев не любил, очевидно, не находя в них полноты поэтичности.

*** Пряжка — знак выслуги за пятнадцать лет беспорочной службы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Блок Ал-др*. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. 799 с.
2. *Герцен А. И*. Письма издалека. М., 1984. 462 с.
3. *Герцен А. И.* Соч.: В 2 т. Т. 1. М., 1985. 590 с.
4. *Герцен А. И*. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1986. 652 с.
5. *Герцен А. И.* Соч.: В 30 т. Т. 13. М., 1958. 676 с.
6. *Григорьев Ап*. Воспоминания. Л., 1980. 437 с.
7. *Григорьев А. А*. Искусство и нравственность. М., 1986. 349 с.
8. *Григорьев Ап*. Письма. М., 1999. 473 с.
9. *Григорьев Ап*. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1990. 507 с.

REFERENCES

1. *Blok Al-dr.* Sobr. soch.: V 8 t. T. 5. M.; L., 1962. 799 s.
2. *Gercen A. I.* Pis'ma izdaleka. M., 1984. 462 s.
3. *Gercen A. I.* Soch.: V 2 t. T. 1. M., 1985. 590 s.
4. *Gercen A. I.* Soch.: V 2 t. T. 2. M., 1986. 652 s.
5. *Gercen A. I.* Soch.: V 30 t. T. 13. M., 1958. 676 s.
6. *Grigor'ev Ap.* Vospominanija. L., 1980. 437 s.
7. *Grigor'ev A. A.* Iskusstvo i nravstvennost'. M., 1986. 349 s.
8. *Grigor'ev Ap.* Pis'ma. M., 1999. 473 s.
9. *Grigor'ev Ap*. Soch.: V 2 t. T. 2. M., 1990. 507 s.